



ЯЗЫК ЛИЧНОСТЬ ТЕКСТ



СБОРНИК СТАТЕЙ
К 70-ЛЕТИЮ
Т. М. НИКОЛАЕВОЙ

ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

ЯЗЫК ЛИЧНОСТЬ ТЕКСТ



СБОРНИК СТАТЕЙ
К 70-ЛЕТИЮ
Т. М. НИКОЛАЕВОЙ

Ответственный редактор
В. Н. Топоров



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР
МОСКВА 2005

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ)

проект № 04-06-87066



Редакционная коллегия:

В. Н. Топоров (*ответственный редактор*), Т. Н. Молошная,
И. А. Ссадакова (*ответственный секретарь*), Т. В. Цивьян, Е. С. Яковлева.

Я 41 Язык. Личность. Текст: Сб. ст. к 70-летию Т. М. Николаевой /
Ин-т славяноведения РАН; Отв. ред. В. Н. Топоров. — М.: Языки
славянских культур, 2005. — 976 с. — (Studia philologia).

ISSN 1726-135X

ISBN 5-9551-0103-9

Сборник посвящен юбилею члена-корреспондента РАН Т. М. Николаевой. В нем публикуются статьи по теории языкознания, по проблемам грамматики, фонетики и интонологии, по семиотике и мифологии, а также по литературоведению. Многообразие тем отражает широту научных занятий и интересов юбиляра.

ББК 81.2Рус

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 5-9551-0103-9



9 785955 101033

© Авторы, 2005

© Языки славянских культур, 2005

СОДЕРЖАНИЕ

I.

<i>Лефельдт Вернер.</i> Слово благодарности Татьяне Михайловне Николаевой	11
---	----

II.

Теория языкознания

<i>Leinonen M.</i> Linguistic crossroads	17
<i>Кубрякова Е. С.</i> О термине «дискурс» и стоящей за ним структуре знания	23
<i>Демьянков В. З.</i> Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка.	34
<i>Неццименко Г. П.</i> К вопросу о лингвистическом статусе языка компьютерных диалогов.	56
<i>Вельмезова Е. В.</i> В начале была... диффузность? (О философско-эпистемологических предпосылках некоторых эволюционистских теорий в лингвистике в конце XIX — начале XX в.)	73
<i>Зализняк Анна А.</i> Проблема внутренней формы слова в типологическом аспекте	87

III.

Грамматика

<i>Иванов Вяч. Вс.</i> К типологии и истории начальных цепочек энклитических частиц	109
<i>Брейар Ж., Горбунова Р. С.</i> «Краткая греческая грамматика» братьев И. и С. Лихудов: неизвестный список	132
<i>Бондарко А. В.</i> Языковая интерпретация семантических категорий в сфере грамматики ...	139
<i>Золотова Г. А.</i> Перфектив как категория структуры текста	149
<i>Толстая С. М.</i> Актантная структура глагола и семантика отглагольных имен: «субъектные» и «объектные» имена	162
<i>Молошина Т. И.</i> Категория неопределенности, выражаемая местоимениями кто-нибудь и что-нибудь, и глагольные категории в современном русском литературном языке	169
<i>Храковский В. С.</i> Адмиратив в русском языке (Вводное слово <i>оказывается</i> и его функции в высказывании)	180
<i>Бенаккио Р.</i> Глагольный вид в императиве в чешском и словацком языках	191
<i>Гловинская М. Я.</i> Оценка в составе речевого акта	201
<i>Аркадьев П. М.</i> Типология и диахрония: наблюдения над падежным синкретизмом в славянских языках	210
<i>Мустайоки А.</i> «Победительная» тема, или Новый взгляд на конативные предикаты в системе аспектуальных значений	224
<i>Grzybek P.</i> A Study on Russian Graphemes	237

IV.

Лексикология. Лексикография. Лексемы

<i>Апресян Ю. Д.</i> Два принципа и два понятия системной лексикографии.	267
<i>Крысин Л. П.</i> О типах лексикографической информации в русской части русско-иноязычных словарей.	285
<i>Рахилина Е. В., Прокофьева И. А.</i> Русские и польские глаголы колебательного движения: семантика и типология.	304
<i>Кошелев А. Д.</i> К проблеме лексической многозначности. Описание общего значения глагола <i>брать / взять</i>	315
<i>Касаткина Р. Ф.</i> Калейдоскоп частиц в русских народных говорах.	365
<i>Урысон Е. В.</i> Материалы к семантическому описанию русского слова <i>И</i>	374
<i>Левонтина И. Б.</i> Давай-давай.	391
<i>Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.</i> Из наблюдений над женскими именами в роду Рюриковичей.	402
<i>Гиппиус А. А.</i> Два отчества посадника Мирошки.	430
<i>Ванхала-Аншиевски М.</i> Имя собственное в текстах СМИ: тенденции функционирования.	435
<i>Свешникова Т. Н.</i> Собачьи клички: заметки на полях выставочных каталогов.	441

V.

Фонетика. Интонация

<i>Бондарко Л. В.</i> Об основных интересах современной фонетики.	449
<i>Horga D.</i> Boundaries between linguistic units and articulatory joints.	455
<i>Фужерон И.</i> Тема с вариациями.	461
<i>Калнынь Л. Э.</i> Вопросы «почему» и «зачем» относительно некоторых фонологических новаций в истории славянских языков/диалектов.	472
<i>Касаткин Л. Л.</i> Основные интонационные тональные контуры (ТК) русского литературного языка.	479
<i>Оде С.</i> По поводу эксперимента по перцептивной эквивалентности тональных акцентов в русской речи.	487
<i>Попов Д.</i> Фоностилизация ответных реплик в разговорном дискурсе (на материале болгарской речи).	496
<i>Sawicka I.</i> Upitna intonacija u albanskom jeziku.	513
<i>Шмелев А. Д.</i> «Показатели хезитации» в русской устной речи.	518

VI.

Семиотика. Миф. Образ

<i>Эдельман Д. И.</i> Еще раз о славянском Диве и иранских дэвах.	533
<i>Елизаренкова Т. Я.</i> Заметки об имени в «Ригведе».	541
<i>Ferrari-Bravo D.</i> La «parola» e l'icona. Dalla verità della <i>conoscenza</i> alla verità della <i>visione</i> e ritorno (su materiale di Pavel Florenskij).	556
<i>Седакова И. А.</i> Заметки о языке, который нас окружает: прошедшее в настоящем.	565
<i>Китайгородская М. В., Розанова Н. Н.</i> Продукты питания как социокультурные знаки.	577
<i>Ратмайр Р.</i> Немецко-русские совпадения и различия на примере названий пищевых продуктов.	600

<i>Земская Е. А.</i> О функциях разговорной и церковнославянской стихий в частной переписке конца XIX в. (по материалам семейного архива Булгаковых)	611
<i>Покаяма О. Б.</i> Знаки препинания в крестьянских письмах XIX в.	619
<i>Пеклюдов С. Ю.</i> «Цыпленок жареный, цыпленок пареный...»	637

VII.

Теория литературы. Западноевропейская литература

<i>Невзглядова Е. В.</i> Виртуальное инобытие поэзии	653
<i>Фатеева Н. А.</i> Гендерные и коммуникативные «сдвиги» как выражение авторской стратегии.	667
<i>Завьялова М. В.</i> Фольклорные и мифологические реминисценции в новелле Проспера Мериме «Люкис».	682
<i>Цивьян Т. В.</i> Из заметок о поэтике Кавафиса: колористика Кавафиса.	697

VIII.

Русская и славянская литературы

<i>Зализняк А. А.</i> Заклинание против беса на стене новгородской Софии.	711
<i>Живов В. М.</i> Ранняя восточнославянская агиография и проблема жанра в древнерусской литературе	720
<i>Софронова Л. А.</i> Формулы общения в пьесах старинного русского театра	735
<i>Хаард Эрик де.</i> «Странник» А. Ф. Вельтмана как образец прозиметрического текста	748
<i>Гардзонио С.</i> Еще раз о стихе перевода Батюшкова из Ролли	761
<i>Топоров В. Н.</i> К проблеме «повторов» и их «уровнях» в поэзии Баратынского (ранний период)	767
<i>Пеньковский А. Б.</i> Загадки пушкинского текста и словаря: «Но наконец она вздохнула! И встала со скамьи своей» (Евгений Онегин, 3, XLII, 1—2)	787
<i>Ланглебен М.</i> Ты и вы в финальной сцене «Каменного гостя» А. С. Пушкина	823
<i>Кодзасов С. В.</i> К типологии поэтического ритма (на материале стихов А. Фета)	845
<i>Плунгин В. А.</i> К эволюции русской метрики: немонотонная силлабо-тоника.	857
<i>Фичи Ф.</i> Флоренция русских путешественников: «воспоминание» и действительность	870
<i>Казанский Н. Н.</i> «Античная страничка» Анны Ахматовой	879
<i>Арутюнова Н. Д.</i> Колеблющийся мир Достоевского: между образом и концептом	883
<i>Ляпон М. В.</i> Парадокс в контексте личности	897
<i>Падучева Е. В.</i> Игра со временем в первой главе романа В. Набокова «Пнин»	916
<i>Рицци Д.</i> Вымышленный текст и мистификация: заметки об одном рассказе Владимира Набокова	932
<i>Журавлев А. Ф.</i> Обратная анаграмма [Пушкин(?). Мандельштам. Гандлевский]	941

IX.

<i>Успенский В. А.</i> Татьяна Михайловна Николаева как собеседник	953
Список научных трудов Т. М. Николаевой.	959

I.



Вернер Лефельдт (Гёттинген)

СЛОВО БЛАГОДАРНОСТИ ТАТЬЯНЕ МИХАЙЛОВНЕ НИКОЛАЕВОЙ

Глубокоуважаемая и дорогая Татьяна Михайловна!

Издатели юбилейного сборника, посвященного Вам, предложили мне принять в нем участие. Я, конечно, с удовольствием принял это приглашение. Обычная форма участия в юбилейных сборниках — это написание научной статьи на определенную тему, близкую исследовательской тематике юбиляра. В Вашем случае я решил поступить иначе. Я выбрал форму письма, чтобы таким образом показать большое влияние Вашей научной деятельности на мою собственную работу и тем самым поблагодарить Вас за это влияние, за всю ту помощь, которую я нашел в многочисленных Ваших работах по проблемам просодии.

Буду говорить как можно конкретнее. Несколько месяцев тому назад вышла из печати моя книга, которая озаглавлена «Akzent und Betonung im Russischen». Эта книга представляет собой результат многолетней работы и является своего рода попыткой построения «акцентологического здания» для русского языка с учетом предшествующих исследований в области, указанной в заглавии книги. Как вытекает из самого заглавия, в основе построенного мной «акцентологического здания» лежит различие двух уровней, а именно уровня акцента («Akzent») и уровня ударения («Betonung»). Иначе говоря, каждое абстрактное фонологическое слово (тактовая группа) имеет точно один акцент, причем под акцентом понимается своего рода «приказание» для говорящего выделить какими бы то ни было фонетическими средствами один слог в рамках данного фонологического слова. На этом уровне сами эти фонетические средства не играют никакой роли. В первой главе книги систематически рассматриваются все проблемы, касающиеся описания акцента, как, например, правила расстановки акцента и т. д.

Ударение («Betonung») рассматривается как реализация акцента в рамках конкретных речевых актов, т. е. конкретными говорящими. Ему посвящена вторая часть книги, и вот эта часть не могла бы быть написана без Вашего участия, т. е. без ссылки на Вашу концепцию словесно-просодического пространства.

Во второй части книги ставится вопрос о том, какими фонетическими средствами реализуется акцент в форме ударения, если он вообще реализуется. Этим вопросом уже занимались много ученых — упомяну работы Л. В. Златоустовой и Л. В. Бондарко, которые, конечно, я использовал в своей книге. Сегодня уже не подлежит сомнению, что при реализации акцента в форме ударения разные фонетические параметры могут играть ведущую роль, прежде всего длительность ударного гласного и его интенсивность. Тем самым встает вопрос о том, от чего зависит ведущая роль то длительности, то интенсивности. Убедительный ответ на этот сложный вопрос можно найти у Вас. Я имею в виду уже упомянутую Вашу концепцию «словесно-просодического пространства». В рамках этой концепции Вы различаете два измерения. Первое измерение — это, как Вы называете ее, «просодическая схема слова». Под этим термином Вы подразумеваете «модель распределения сильных и слабых (т. е. максимально и минимально выраженных) точек реализации параметров просодии в пределах слова, независимо от места и способа реализации ударения» (с. 49). Значит, вам удалось показать, что сильные точки как длительности, так и интенсивности не зависят от ударения, чем объясняются случаи, например, несовпадения максимума интенсивности и ударения, если оно падает не на начало слова, где находится сильная точка интенсивности. Тем самым был сделан важный шаг в понимании взаимосвязи параметров интенсивности и длительности, с одной стороны, и ударения, с другой.

В дальнейшем Вами было показано, что просодическая схема слова представляет собой автоматизированное явление, которое находится вне сознания носителей языка. Иными словами, его существование может быть установлено лишь путем измерения соответствующих параметров. Из этого вытекает, что на вопрос о том, какой слог конкретного слова является ударяемым, нельзя ответить с помощью измерения указанных или же других фонетических параметров, ведь в отличие от просодической схемы слова ударение представляет собой явление, которое как таковое воспринимается носителями языка. В обычном случае каждый говорящий по-русски в состоянии определить ударяемый слог конкретно произносимой словоформы, несмотря на то что он не может уточнить или же просто назвать те фонетические параметры, которые выделяют данный слог. «...ударение есть то, что слышно как ударение. ... Это — факт интроспективного языкового метасознания» (с. 51). Значит, восприятие данного слога как ударяемого не всегда и не исключительно определяется измеряемыми степенями определенных фонетических параметров. Напротив, ударение представляет собой психоперцептивный феномен, «то есть оно есть в нашем внутреннем словаре, где данное слово как бы записано вместе с ударением» (с. 43).

Сказанное, однако, не означает, что восприятие данного слога как ударяемого полностью независимо от таких параметров как интенсивность и длительность. «...в каждом языке существует параметрическое предпочтение для выражения словесного ударения. Исследования последних десятилетий доказали, что этим параметром для русского языка является **длительность**» (с. 271).

Вот весьма краткий и, конечно, неполный перечень тех Ваших взглядов на русское ударение, которые помогли мне понять природу этого сложного явления. Без опоры на Вашу концепцию я непрестанно и, конечно, напрасно искал бы однозначного соотношения между определенными фонетическими параметрами, с одной стороны, и ударением, с другой. Значит, у меня есть все основания быть благодарным Вам. Благодаря именно Вашей акцентологической концепции мне удалось завершить вторую часть своей книги.

Ясно, что предшествующие положения затрагивают только небольшую часть Вашей многолетней языковедческой деятельности, которая нашла свое отражение примерно в 400 опубликованных книгах и статьях. Но, как было сказано в начале сего благодарственного письма: «Буду говорить как можно конкретнее». Мне еще раз хочется подчеркнуть глубину и многогранность Вашей концепции, которая дала мне импульсы для развития направления моих мыслей и помогла в решении важных для меня задач. Прошу Вас благосклонно принять мое слово благодарности.

Желаю Вам, дорогая Татьяна Михайловна, дальнейших успехов в Вашей большой плодотворной области исследования, для развития которой Вы уже сделали так много.

Ваш благодарный Вернер Лефельдт

*P. S. Все цитаты взяты из Вашей замечательной книги «От звука к тексту»
(Москва, 2000)*

II.

ТЕОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ



Marja Leinonen (Tampere)

LINGUISTIC CROSSROADS

With the present-day increasing globalization, borders between language communities are weakening and contacts between languages increasing. This is not a new phenomenon, since in border areas bilingualism to some degree has apparently been the rule rather than an exception — except in areas where permanent hostilities prevented attempts at communication. In linguistics, however, attention has basically concentrated on the linguistic system «où tout se tient», or, in dialect studies, on phonology, morphology and lexicography. Variation in the grammatical systems has become the object of study — within one language — with the rise of sociolinguistics not so long ago. Study of variation involving two different languages is a phenomenon of even more recent origin, and for a long time was concerned with interference of one language having a negative effect on the learning of another, the main object of study.

Starting with Hugo Schuchart, variation brought about by language mixing has concentrated on pidgin and creole languages, thus to certain historically determined areas of the world where colonialism met with native cultures that were totally different and hardly resistant towards pressures from stronger actors, or where there was no indigenous native language that could hold its own. True, mixed languages also rose at border areas between speech communities with stable native languages.

In this paper, two phenomena are presented that concern linguistic contacts involving Russian. They are possibly of interest in the field of creolization studies, research on bilingualism and historical linguistics. Both are cases of contact zones between two monolingual «hinterlands», or «continents» that have retained their native languages as the main means of communication. The center of interest here is the possible motivation behind the mixing.

The first concerns a superficial contact exemplified by Russenorsk — a pidgin language that was spoken on the coasts of Norway and northern Russia in the XIXth century. The famous Norwegian Slavist Olaf Broch collected samples of rudimentary sentences and a lexicon [Broch 1927], on the basis of which this pidgin found its way into research. The «language», of which about 390 words are known, was based mostly on Norwegian and Russian lexemes, with a very simplified morphology and syntax. There was, though,

a morphological innovation, namely marking the verbs with the suffix -om. Ingvild Broch and Ernst Håkon Jahr, who have compiled all the descriptions of Russenorsk, note the variability of the lexicon; words were taken quite haphazardly from different languages — not only Norwegian and Russian, but also Sámi, English and possibly other sources. In 1842, Elias Lönnrot, the collector of folklore and creator of the Finnish national epos *Kalevala* noted down information on a language spoken on the Kola peninsula which was called «kaksprekk». It was spoken by the «Filmans» along the coast extending from Kola to Hammerfest in Norway and further on. Lönnrot remarked on how easy it was to learn the language, so much so that he predicted for it a glorious future, that of a kind of Esperanto along the coastal areas. Even in Raznovolok in Karelia he found a person who claimed to be able to speak it [Lönnrot 1911]. It is not clear whether the Filmans were Sámi or Finns residing on the coast; definitely the language was spoken by Norwegian and Russian fishermen and traders, probably by Sámi as well, and it probably had been formed during the previous century [Broch & Jahr 1984, see also Belikov & Krysin 2001]. All this is well known, however, it is worth pointing out that the crucial words for the speech participants are ‘moja’ and ‘tvoja’ — the very same items that occur in the pidgins spoken in the Russian Far East. It is worth considering the suggestion made by researchers that Russians themselves, trying to make themselves understood, presented these words to foreigners, i.e., we are dealing here with «foreign talk» as it was imagined by the Russians.

The second phenomenon is connected to the preceding one areally, being situated in the Russian north. There, in the former Arkhangel oblast and its surroundings, the Russian merchants, hunters, and settlers met the Komi Zyryans, with whom trading contacts began very early. More permanent contacts arose when Christianity was introduced at the end of the XIVth century by St. Stephen of Perm. At the time, the centre of the Komi people lay in Pyras, nowadays Kotlas, which is where St. Stephen began his missionary work, winning with time large areas of the Komi for Moscow.

As the Russian settlers moved further east from the river Dvina, the Komi either retreated or became linguistically assimilated. Both phenomena were accompanied by language contacts for hundreds of years. In these, the male population, being extremely mobile and in the XIXth century serving in the Russian army, played the leading part. Thus, Russian lexical items, even syntactic patterns, were introduced to the Komi language, in different degrees in different dialects, depending on the proximity to the Russian villages. In dialects bordering with Russian settlements, even the phonemic inventory of a Komi dialect could change, with Russian phonemes introduced into the Komi system [Sidorov 1992 [1951]]. Among the borrowed lexical items, nouns prevail, which is the rule in language contacts [Ajbabina 1990]. What is more interesting, and concerns all the Finno-Ugric languages spoken in Russia, is the abundance of particles, modal adverbs and conjunctions borrowed from Russian. A few detailed studies on the topic have been written by Finno-Ugrists, namely by K. Å. Majtinskaja [1982] and Paul Alvre [1983]. Elsewhere in the world, similar tendencies have been found in, e.g., Latin America, where Spanish became the dominating language of higher culture and commerce among the native American peoples [Hill & Hill 1986]. The general opinion among linguists has,

however, treated conjunctions as elements belonging to the very core of the grammatical system, thus not amenable to transfer.

In Finno-Ugric languages, according to Majtinskaja, borrowing was caused by the absence of conjunctions, the role of which was played by particles. Another basis for this «hole in the system» was the predominance of syntactic asyndeton. In the Americas, according to M. Mithun [1988], who has studied the borrowing of coordinate conjunctions into Amerindian languages, conjunctions were «needed», as being more explicit. Noun phrases linked by intonation alone leave the nature of the link too vague, since it can be meant to express sets, alternatives or an apposition. Further, intonationally linked predicates or clauses may have a relationship of sequence, consequence, simultaneous events or states, contrast, purpose, elaboration. Juxtaposed clauses may correspond to subordinate adverbial clauses in another language [Mithun 1988: 355—356]. Naturally, the lexical content and the preceding discourse can clarify the relationship, but especially in written discourse, which is not situated in time and place, the role of conjunctions is heightened. It is natural, then, that translations from a language having a rich array of conjunctions often reflect the original in the form of direct loans and calques both in word-formation and in syntax.

If the lists given by Majtinskaja and Alvre are combined, we find that Komi has borrowed 49 conjunctions, or connectives, from Russian — as many as Karelian, the dialects included. In certain Komi dialects, there are even combinations of Russian and Komi conjunctions, hybrids. Thus, we find in both dialectological material and in the grammars of the XIXth century ‘if’ as *jesl’ikö*, *ježel’ikö* (*kö* Komi for ‘if’), *ježeli budi*, ‘in order to’: *medby* (*med*, *medym* ‘in order to’ + *by*), ‘as if’: *bytt’ökö* (‘*budto*’ + ‘*kö*’) *kydz’ bytt’ö* (Komi for ‘like’, ‘how’ + *budto*), the explicative ‘that’: *što myj*, *myj što*, *myjyštö*, *yštökö* (also meaning ‘*kak budto by*’) (for a survey of the borrowed conjunctions, see [Leinonen 2002]. According to the totally suffixing linguistic model of Komi, the «light» postpositive elements are added to the Russian conjunctions. In the case of ‘*medby*’ the Russian element as the lighter one comes last, perhaps according to the model of the Komi synonym ‘*medym*’. ‘*Kydz’ bytt’ö*’, however, defies such an attempt at systematization, as do the synonymous ‘*myj što*’ and ‘*što myj*’. In the modern literary language, the bare Komi variants, i.e. *kö*, *med/medym*, *myj*, are the norm. In the 1940s, however, amalgamation of Russian and the native languages was officially favoured, and «hybrids» (*skreščenie*) were even recommended by a leading Komi linguist [Sidorov 1992 [1950]].

In other parts of the world, hybrids are found in unstable bilingual situations in spontaneous speech (Magdolna Kovács on Hungarian-English code-switching, personal communication). If, however, we find them in Komi dialects during the past nearly two hundred years, that is, as far back as linguistic fieldwork and grammar-writing goes, we probably have to assume that they are part of a system with variation, a typical borderland phenomenon. The dialects in question were studied by Komi dialectologists who, true to the tradition, noted down the speech of the older generation, which had preferably lived in the village all their life. We can hardly assume that the speakers were bilingual with a shaky competence in Komi. We do note that the further south or north we go,

towards the dialects with longer contacts with Russian dialects, the more often «pure» Russian conjunctions replace the Komi equivalents and the hybrids. As to the XIXth century grammars, in the absence of a codified language, they were based on different dialects, and although the informants originally may have been able to speak Russian, the forms as such must have existed firmly in their dialects. Note that in Karelian and Vepsian, according to Alvre, multi-part conjunctions with indigenous and Russian elements are found as well [Alvre 1983: 46]. The obvious conclusion is that dialects allow more variation than codified grammar; they are both archaic at the periphery, and fashionably extroverted at the crossroads.

Studies of code-switching present hypotheses for the motivation of switching from one language to another in the communication process. Could the hybrids be seen as instances of «ossified» code-switches? In a study of German-Russian code-switching and lexical transfer, Renate Blankenhorn suggests, among other things, the motivation of «quasi-translation» of discourse words. In her material, a German dialect spoken in Siberia, the Russian element comes first followed by the German translation. As a motivation, the author suggests emphasis, or increased redundancy. An example: *‘ich habe zwei sutke gelege ohne besinnungi, bez soznaniija’*. In all the examples of «quasi-translation», the items or sequences translated are content words, not discourse words [Blankenhorn 2002: 167—171]. As is pointed out in a footnote [p. 170], according to W. Labov, repetition is a strategy of «evaluation», which can easily be found in natural conversation.

While the hybrid Komi-Russian conjunctions may indeed be a result of the need for emphasis, we might add as a favouring factor the predilection of the language to use *dvandva*, e.g. *nyr-vom* ‘face’ (‘nose + mouth’), an old Finno-Ugric word-formation technique. So-called tautological compounds include Russian elements as well: *‘čužōm-roža’* means ‘face’ and consists of the Komi word for ‘face’ and the Russian colloquial ‘face’ [KRS 1961: 752; KRK 2000: 715]. In a study dedicated to *dvandva*, I. Bátori pointed out that Russian words are often used to form tautological composita, resulting in «coordinated hybrid composita» [Bátori 1969: 30]. As if to stress the function of the tautological compound to cross language boundaries, the word for ‘hello’ is in the older Komi-Russian dictionary *‘čolōm-zdorovo’* [KRS 1961: 747], in the new dictionary *‘čolōm-vidza’* (< short for the Komi greeting *‘vidza olan’*) [KRK 2000: 709]. M. Fedina, having studied the *dvandva* and tautological composita, comes to the conclusion that «translation compounds» have a natural and simple communicative function in border zones of linguistic areas [M. Fedina, manuscript].

Another part of the Komi lexicon is also richly complemented by Russian items, namely particles and modal adverbs. Here we find *al’i*, *dažō*, *samōj*, *l’ibō*, *tožō*, *tol’kō*, *vs’o-taki*, *ōpet’*, *ješčō*, *proč* (‘quite’), *prōt’iv*, *prōstō*, *prōsta*, *n’eužel’i*, *na!*, *n’ebos’*, *kōn’ešnō*, *ved*, *ōd*, *žō*, *d’ert*, *vot (i)*, *pōšt’i*, *kōt’(-a)*, *ōdvakō*, *bytt’ō(kō)*, *inō(s’)*, *bud’i*, *bud’iči*, *byt’*, *darōm*, *zagreki*, *n’epōštō*, *n’etōštō*, *dak*, *daj*, *i*, *da*, *n’e*, *n’i*, *by*, *davaj*, *navernō* [Önija komi kyv morfologija 2000: 502—519]. To apply the classification suggested in Blankenhorn, the items include opening particles (*a*, *vot*), adversatives (*a*), coordinatives (*da*, *i*), disjunctives (*l’ibō*, *al’i*), reactive relatives (*kōn’ešnō*), modal

words and focusing particles (tol'kõ, kõt', pröstõ, dažõ, ješčõ), epistemic modal words (navernõ, žõ, ved, õd, n'ebos'), and gradation particles (põšt'i). Without continuing the classification, one can note that the items can be included in the customary definition of particles as being of «non-relevance to the prepositional content of the utterance» [Blankenhorn 2003: 148—152]. These words were borrowed long ago, as is shown by the phonological form, and are firmly rooted in the language by now. Apparently they were felt to be pragmatically useful in the communication occurring between actively or passively bilingual populations, and were passed on to the monolingual hinterland. As a parallel, we note in Finland the increasing use of English pragmatic particles 'yes' and 'anyway' in purely Finnish conversations; a usage that may have arisen in the speech of schoolchildren and is strengthened by the constant presence of English on the urban Finnish scene.

While similar studies in other languages concentrate on various forms of creolized and diaspora languages, we shall probably have to admit that different languages favour certain types of word-formation and are to different degrees permeable to influence from a foreign language. It also remains to be stressed that «foreign» may in certain circumstances mean simply «different»; today «languages» emerge from dialects by a political fiat; in older days the existence of «languages» was not necessarily even a generally recognized fact. What existed were speech forms, idioms — and grammars.

To exemplify both claims, we can appeal to the case of Russenorsk: it was also called «moja-po-tvoja»; that is, «I speak in your idiom». As is well known, languages and peoples mostly receive their names from outsiders. The second example comes from a recent textbook on sociolinguistics. One of the authors presents an excerpt from a story written by a Komi fisherman. In the text, the lexemes are Russian, but the grammar is Komi: «Sn'imitim kol'tsošõ i uznajtim, što čirokys z'imujtõma Frantsijajn» («We took off the ring and found out that the teal had wintered in France») [Belikov & Krysin 2001: 57]. Here the language as a sign of belonging to a group includes as its counterpart signs of adaptation to communication outside the group, almost a relexification.

Similar adaptation of language systems is shown on the linguistic map by not only the spread of loanwords, but also the similarities in the grammatical systems of neighbouring languages, especially syntax. As has been shown in recent research in areal typological linguistics [The Circum-Baltic languages], the discussion on and definitions of Sprachbund may not be very fruitful. Instead, it is in border dialects and minor languages of the Circum-Baltic area that language contact has been most intensive, and those are the speech forms where the most exciting structural changes are found [The Circum-Baltic languages 2001: 728]. It appears that the same can be said for the Russian North, which has so far remained outside the focus of language contact research. Like the Circum-Baltic area, it shows a relatively low structural diversity, a moderate genetic diversity (Uralic, Slavic), and a continuity of contacts over a long period of time. Thus the Russian North has a high degree of areal continuity and a high time depth and is well worth studying from both a historical and a «contactological» point of view.

Е. С. Кубрякова (Москва)

О ТЕРМИНЕ «ДИСКУРС» И СТОЯЩЕЙ ЗА НИМ СТРУКТУРЕ ЗНАНИЯ

Широкое распространение термина «дискурс» в современной лингвистике отнюдь не означает, что за ним уже закрепилось содержание, которое можно было бы считать общеупотребительным. В потоке работ, посвященных дискурсивной тематике, мы встречаемся с самыми разными истолкованиями термина, да и история его появления описывается в этих работах по-разному. Используясь к тому же в разных науках, он трактуется неоднозначно и здесь, и трудно сказать, связано ли такое положение дел с тем, что формирование термина еще не завершено, или с тем, что следование моде сопровождается размытием его первоначальных содержательных границ. Во всяком случае, значения, приписываемые рассматриваемому термину, на первый взгляд кажутся достаточно пестрыми и даже не укладывающимися в единую систему. Мало что изменилось в этом отношении и с 1978 г., когда Т. М. Николаева указала в своем словаре терминов лингвистики текста, что «дискурс — многозначный термин..., употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных» [Николаева 1978, 467].

Посвящая эту небольшую работу о дискурсе замечательному ученому и прекрасному человеку, я хотела бы вернуться еще раз к рассмотрению тех структур знания, которые объективировались с помощью слова **дискурс** в последние десятилетия и получали свое обозначение с помощью этого слова, и сделать это для того, чтобы понять логику включения в семантическую структуру термина достаточно разных концептов и, по возможности, выделив важнейшие из них, показать существующие между ними отношения и связи.

Если уже к концу 70-х гг. прошлого века термин объединял достаточно разнородные значения, то в дальнейшем содержание термина еще более усложнялось. Чтобы убедиться в этом, можно познакомиться с разъяснениями термина у В. З. Демьянкова [Демьянков 1982], который, по мнению Ю. С. Степанова, дал «лучшее до сих пор определение дискурса» [Степанов 1995, 38], у М. Стаббса, который выделил три главных характеристики дискурса — формальную, содержательную и организационную — и предложил подробное описание каждой из них [Stubbs 1983], или, наконец, уже в 90-х гг. у Ю. С. Степанова, М. Л. Макарова и др.

Приведу в качестве примера лексикографического представления семантической структуры термина в конце 90-х гг. его описание у П. Серио, который выделяет у него восемь значений: 1) эквивалентности понятию «речь» (по Ф. де Соссюру) и любому конкретному высказыванию; 2) единицы, по размерам превосходящей фразу; 3) воздействия высказывания на его получателя с учетом ситуации высказывания; 4) беседы как основного типа высказывания; 5) речи с позиции говорящего в противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции; 6) употреблению единиц языка при их речевой актуализации; 7) социально или идеологически ограниченного типа высказывания, например, феминистского дискурса; 8) теоретического конструкта, предназначенного для исследований условий производства текста [Серио 1999, 26—27].

Очевидно, однако, что в таком определении, построенном в сущности вокруг понятий о речи и высказывании, никак не указаны те свойства, которые помогли бы **отличить** дискурс от речи и тем более — отдельного высказывания, или же понять реальную суть того теоретического конструкта, который помог бы изучить условия создания текста и его воздействие.

Представляется, что сегодня понятие дискурса нуждается именно в том, чтобы перечислить его критериальные признаки, чтобы указать на то, что отличает его от тех понятий, несомненную близость с которыми он фактически разделяет, чтобы ясно очертить границы между дискурсивными и недискурсивными явлениями, а главное, чтобы объяснить, почему, действительно, «дискурс — это новая черта в облике языка, каким он предстал перед нами к концу XX века», как то совершенно правильно подчеркнул Ю. С. Степанов [Степанов 1995, 71].

Отталкиваясь от понимания дискурса именно как новой реальности языка и притом **высшей** его реальности, мы и хотим далее показать, потребностям в каком концепте отвечает изучаемый нами термин и по каким причинам в нем сочли возможным и целесообразным представить в **единой системе знаний** нечто принципиально новое. Естественно также, что, поставив эту задачу, мы должны продемонстрировать не только **перечень** значений, образующих содержание термина, но и организующую их **сетку связей**. Хотя объединение значений (концептов) в одной семантической и когнитивной структуре и складывалось отчасти стихийно и заранее не могло бы быть предсказано, все же оно складывалось далеко не случайно. Не была, конечно, случайной и сама история формирования понятия дискурса, хотя находящиеся в нем сегодня отражение интеграционные познавательные процессы имели разные источники, которые могут быть связаны с разными школами и разными направлениями лингвистики во второй половине XX в.

Оставив следы своих принципов, предпочтений и достижений в содержании термина, они оказались представленными в нем в виде не столько абсолютно новых концептов по сравнению с теми, что уже были заложены этимологически в семантике слова, сколько в виде концептов, подвергшихся вполне понятным модификациям, уточнениям и развитию. Как у каждого термина, его значения были в конечном счете детерминированы значениями слова, к которому этот термин восходит, но одновременно и теми последующими импликациями и процессами

семантического вывода (инференции), которые характеризовали его дальнейшее развитие и сыграли свою значительную роль в формировании термина как **многозначного**, термина, за которым сегодня действительно стоит сложная структура знаний. В основе термина — латинское слово *discursus*, которое означало ‘бегание туда и сюда’, откуда понятие круговорота, а позднее — значения ‘беседа’, ‘разговор’ и уточнение круговорота как круговорота речи. Итак, у истоков термина оказывается концепт **речь**, а поскольку и английское слово *discourse* и французское *discours* повторяют значения речи, беседы, а английский прибавляет к ним также значения лекции, проповеди, вполне мотивированным выступает, на наш взгляд, развитие у термина значения **форм общения**, притом с явным акцентом на формы общения **устного**. Указания же на беседу, разговор (конверсацию) — это предтечи развития не столько значения **обмена мнениями**, сколько **целеполагания**, исходящего от отправителя речи и **воздействия** на его адресата. Нельзя не отметить тоже, что и беседа, и все прочие перечисленные формы общения имплицитно известную нейтральность термина по отношению к инициаторам общения: в их качестве могут выступать как группы людей, так и отдельно взятое лицо (лектор, проповедник), т. е. дискурс может объединять представления и о диалогической и о монологической речи.

Начало современному употреблению термина связывают обычно с именем З. Харриса, см., например, [Кибрик 2003, 12], т. е. с 1952 г. Но здесь лучше обратиться к рецензии на дискурсивные заметки Харриса, принадлежащие М. Бирвишу [Bierwisch 1963]. По его мнению, Харрис, выдвигая две задачи, стоящие перед дискурсивным анализом («продолжить дескриптивную лингвистику, выведя ее за пределы анализа отдельно взятого предложения» и соотнести между собой понятие языка и понятие культуры [Harris 1952]), и демонстрируя методику и практику его осуществления, все же оставил без дефиниции само понятие дискурса [Bierwisch 1963, 142]. Да и сведение текста / дискурса как связной последовательности предложений или высказываний к образующим их последовательностям морфем неудовлетворительно, т. к. не содержит упоминания о **структуре** подобной связности [Там же, 142 и сл.]. Примечательна в статье М. Бирвиша не столько критика взглядов З. Харриса на дискурсивный анализ с позиций трансформационной грамматики, сколько сама практика недифференцированного употребления терминов «дискурс» и «текст» для обозначения последовательностей, больших отдельно взятого предложения / высказывания (что, как мне кажется, должно исключить и в дальнейшем применение термина «дискурс» по отношению к **изолированному** высказыванию / предложению: естественный дискурс не может состоять из одного предложения).

С другой стороны, важно, что Бирвиш настаивает на том, что не всякая последовательность высказываний, а только последовательность, маркированная их связностью (*Konnexität*), может рассматриваться как дискурс. «Центральная проблема дискурсивного анализа становится очевидной, — утверждает М. Бирвиш, — когда рассматривают его (дискурса) возникновение, т. е. обращаются к синтаксическим структурам, организующим текст» [Bierwisch 1963, 151].

Статья Бирвиша важна для нас и потому, что она приходится на самое начало 60-х гг., свидетельствуя об интересе к дискурсу в лингвистике текста, часто трактованной тогда как наука, создаваемая на стыке лингвистики и литературоведения (см. [Literaturwissenschaft und Linguistik 1963], где рецензия М. Бирвиша публикуется во 2-й главе, озаглавленной «К понятию текста» — Zum Textbegriff). О том, что понятие дискурса уже становится хорошо известным и в ПЛК (Пражский лингвистический кружок), свидетельствует и незаслуженно у нас забытая статья одного из известных представителей ПЛК Карела Хаузенбласа. В знаменитом первом послевоенном выпуске трудов ПЛК 1964 г., вышедшем под названием «Пражская школа сегодня», статья Хаузенбласа («О характеристике и классификации дискурсов») занимает заметное место. Начиная свою статью с сожаления о том, что в лингвистике до сих пор отсутствует адекватная классификация того языкового **материала**, из которого черпаются сведения о языке, он отмечает, что далеко не все параметры, присущие этому материалу, уже получили свое описание и были учтены в предыдущих исследованиях. Наряду с реальным противопоставлением в этом материале — в этих дискурсах — устной и письменной речи или же функциональных разновидностей речи (описанных более всего в функциональной стилистике, которая в силу чисто прагматических потребностей не могла не отразить различий в разных стилях речи), необходимо, однако, разобраться и в других вариантах дискурса [Hausenblas 1964, 67 и сл.]. Его рассмотрение как особого языкового феномена требует, по крайней мере, проведения границ, с одной стороны, между свойствами дискурса и языковой системы, а с другой, ограничения понятия дискурса по сравнению с близкими ему феноменами. Особого внимания заслуживает, наконец, и проблема классификации дискурсов и нахождения тех критериев, которые помогут выделить наиболее релевантные черты в функциях и структуре дискурса. Ведь типы дискурса проявляют богатую дифференциацию (very richly differentiated) и тесно связаны с условиями его осуществления. Именно в дискурсе реализуются все средства языка, заложенные потенциально в его системе. «Под дискурсом, — пишет Хаузенблас, — мы имеем в виду набор упорядоченных языковых средств, использованных в отдельно взятом коммуникативном акте, происходящем между определенными участниками при определенных условиях (в данном окружении, как реакция на определенный стимул и с учетом конкретной цели)... Дискурс может рассматриваться и как процесс и как результат (фактически — как результат акта коммуникации)» [Hausenblas 1964, 70—71]. Будучи всегда связан с актом/актами коммуникации, он представляет собой единицу «использования языка в практике межличностного общения» [Там же].

Не могу не отметить, что по сути дела в статье предлагается целостная программа изучения форм и особенностей дискурса в функциональном и структурном планах, а приводимые им ссылки явно говорят о том, что в ПЛК уже складывалась особая концепция дискурса, в которую и тогда были включены представления, составляющие вплоть до настоящего времени ядро содержания термина «дискурс»: это концепты **использования** языка в конкретных **условиях** коммуникации, **выборочности** употребленных при этом языковых средств, **зависимости** от целей

коммуникативного акта. В статье не просто перечислены критериальные признаки дискурса, но и намечено то его видение, что было характерно для раннего функционализма (и в ПЛК, и в отечественном языкознании).

Дальнейшую историю развития понятия дискурса в 80-е гг. связывают прежде всего с именем М. Фуко и его последователей (см. [Чернявская 2001, 11 и сл.]. Но пафос работ исследователей этой школы в обнаружении того, что за определенной совокупностью текстов (или даже — за отдельным текстом) стоят определенные общественно-исторически сложившиеся системы знаний и что дискурс является своеобразным языковым коррелятом такой системы. Дискурсивный анализ выступает поэтому как средство исторической и идеологической реконструкции «духа времени» (по образному выражению М. Фуко — «археологии знания»).

Аналогичные идеи можно, собственно, обнаружить и в классической работе П. Серио, который стал первым лингвистом, осуществившим в 1985 г. анализ советского политического дискурса в своей книге, подробно разобранный впоследствии Ю. С. Степановым [Степанов 1995, 38 и сл.].

Трудами этих исследователей было заложено особое направление дискурсивного анализа, отличного от того, что характеризовал англосаксонскую школу. Если последняя развивалась как ориентированная на более глубокое обоснование лингвистики текста и исследование текстовых особенностей и текстовых категорий в разного рода verbal messages и records (языковых сообщениях и их записях), то в работах М. Фуко, П. Серио, а позднее и ряда немецких исследователей акцент делался именно на реконструкцию по данным текста идеологических и прочих систем, стоявших за этими текстами. Подобная установка отразилась в термине «дискурс» как в виде указания на его существование в качестве «социальной данности», так и в методологическом требовании подходить к описанию дискурса как «погруженного в жизнь» и / или строящего по мере его развертывания особый «возможный мир».

О том, как были глубоки традиции такого подхода, свидетельствует характеристика дискурса, даваемая ему спустя три десятилетия в программной статье Ю. С. Степанова: «дискурс, — пишет он, — это первоначально особое использование языка... для выражения особой ментальности...; особое использование влечет активизацию некоторых черт языка и, в конечном счете, особую грамматику и особые правила лексики» [Степанов 1995, 38—39]. Очевидно вместе с тем, что и указание на особую ментальность, отражаемую и выражаемую в дискурсе, и указание на активизацию в дискурсе определенных черт языка, и последующие замечания Ю. С. Степанова о связи дискурса с культурой и созданием «возможных миров», а также на репрезентацию дискурсом «особой социальной данности», — все это итоги не только традиций, но и появления в теоретической лингвистике новых парадигм знания и выдвижения в них новых понятий, характеризующих бытие и функционирование (использование) языка. Хотелось бы поэтому подчеркнуть, что в содержании термина «дискурс» сегодня отражаются новые веяния в понимании языка, новые повороты в его исследовании и — безусловно — уже накопленный опыт анализа языка в новой системе координат. В этой системе свое подробное

описание получали постепенно и ситуативные (прагматические) факторы речи (ср. [Макаров 1998, 68 и сл.]).

Можно с полным на то основанием утверждать также, что в трактовке указанных координат находили свое отражение не только позитивные установки новых парадигм знания (прежде всего — коммуникативной и когнитивной), но и **критика**, которой с позиций этих парадигм подвергались многие прежние устоявшиеся представления и о языке, и о том, как его надо изучать. См. [Николаева 2000, особ. 422 и сл.].

Иллюстрацией к этому положению может, с одной стороны, служить влияние, которое оказала на формирование дискурсивного направления и понимание дискурса прагматика и разные социопрагматические школы внутри лингвистики коммуникативной (см. [Цурикова 2002, 16 и сл.]). Изучение всех прагмалингвистических характеристик общения, столь типичное для исследования дискурсивной деятельности в настоящее время, отразило стремление многих ученых дать подробное описание естественно протекающего процесса общения людей, отразить зависимость такого процесса от множества ситуативно обусловленных и социальных по своей сути характеристик. По мнению Н. Д. Арутюновой, дискурс — это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими и другими факторами... Дискурс — это речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова 1990, 136—137]. Часто цитируемое, это определение дискурса открывает дорогу самым разным подходам к анализу дискурса, но здесь нам особенно важно подчеркнуть, что приход к такому определению дискурса означает не только вполне определенные конструктивные установки нескольких школ (их описание уже дано в упомянутых выше работах, и мы не будем повторять выводов этих исследований), но типичное для них критическое и скептическое отношение к попыткам исследования языка в его изоляции от жизни общества и вне зависимости от его реального функционирования для решения разных целей и задач. Отсюда **отказ** от следования принципам генеративной грамматики, от жесткого противопоставления компетенции и абстрактных знаний языка его реальному использованию. Признание принципа *competence to perform* как результат преодоления догм генеративизма было одновременно признанием необходимости анализа языка в широком диапазоне его реального существования — *language in action, language in function*. В каком-то смысле, однако, такие призывы стали звучать лишь после того, как вслед за периодом увлечения генеративизмом пришел этап его критического осмысления, этап понимания его ограниченности и неприятия видения в нем задач теоретической лингвистики.

Вместе с тем и от генеративной грамматики было унаследовано нечто весьма существенное: интерес к созданию динамических моделей языка и к порождению речи, понимаемому уже не в метафорическом, а вполне в реальном смысле. Отсюда не только попытки предложить разные модели речепроизводства или дать подробное описание последовательным этапам речепорождающего процесса и механизмам порождения речи (что нашло свой отклик и в начинающей свое развитие с середины 60-х гг. XX в. когнитивной науке) и не только постепенное осознание

того факта, что у истоков порождения речи стоят прагматические операторы и сама языковая личность говорящего, что тоже, конечно, очень важно. Не менее существенным нам представляется то обстоятельство, что неперменной чертой динамических моделей языка оказалась необходимость описать **развертывание** речи. Понадобился термин, который отражал бы это новое понимание порождения речи — его зависимости не только от внутренних способностей говорящего и даже его индивидуальных интенций и целей, но и от разнообразных ситуаций речи с ее участниками и их реакциями на те или иные особенности общения и т. п.

Даже если оставить в стороне теорию речевых актов и начинающиеся в 70-х гг. исследования, касающиеся принципов речевого общения и т. п. (см. подробнее [Макаров 1998; Кубрякова 2000; Цурикова 2002; Карасик 2002 и др.]), а также исследования речевой деятельности в психолингвистике, можно сказать, что последние десятилетия прошлого века были ознаменованы поворотом к событийной стороне речевого общения, процессуальным аспектам актов коммуникации и т. п.

«Всякий акт употребления языка — будь то произведение высокой ценности или мимолетная реплика в диалоге — представляет собой частицу непрерывно движущегося потока человеческого опыта. В этом своем качестве, — пишет Б. М. Гаспаров, — он вбирает в себя и отражает в себе уникальное стечение обстоятельств, при которых и для которых он был создан» [Гаспаров 1996, 10]. Внимание к использованию языка, к употреблению его в разных целях и для решения самых разнообразных задач рождает в итоге еще одно важнейшее для понимания дискурса представление о развертывающемся во времени свободном потоке непрекращающейся коммуникативной активности человека. Конституирующей характеристикой дискурса становится приходящее из когнитивной лингвистики (via генеративную лингвистику) понятие **порождения речи on-line** — ее развертки в реальном времени (см. [Кубрякова 2000, 22]). Мы уже отметили в этой работе, что отсылка к реальному времени осуществления того или иного коммуникативного акта должна пониматься либо буквально — при анализе устной речи и возможности непосредственного наблюдения за ее протеканием, либо как указание на возможность рассмотрения любого речевого произведения и текста как бы **по ходу** его создания, т. е. при известной реконструкции **пошагового** порядка.

Концепт on-line предполагает, что дискурсивная деятельность может быть изучена по мере ее поступления (порождения) и что именно такое ее рассмотрение позволяет выявить и описать новые черты в речевой деятельности и, соответственно, обогатить наши представления не только о человеческой речи, но и о **роли языка в жизнедеятельности человека**.

Исследование дискурса все более приобретает, таким образом, вид описания языка в многомерном пространстве с подвижной сеткой координат, включающей параметр времени (ср. также [Дымарский 2001, 40]).

Эта тенденция отчетливо ощутима и в когнитивной лингвистике, где разрабатывались разные теории информационных потоков (см. [Кибрик 2003, 26 и сл.] и где уже нашли свой подробный анализ разнообразные связи языковых структур с когнитивными и, как мы уже указывали ранее, противопоставление явлений

on-line и off-line. Четкое обоснование фундаментального отличия этих явлений друг от друга заключается в том, что «одни из них ответственны за использование языка в реальном времени», другие же «связаны с языком как средством хранения и упорядочения информации» [Кибрик 2003, 24 и сл.]. В первом случае наблюдается связь порождаемых в речи структур с оперативной памятью человека, с распределением и фокусировкой внимания, с состоянием человека в момент речи и текущим сознанием; во втором — языковые формы выступают как связанные с репрезентацией в сознании разных форматов знания, с организацией внутреннего (ментального) лексикона, с фиксацией в последнем результатов концептуализации и категоризации мира и сложившейся в мозгу человека языковой картиной мира.

Иногда утверждают, что в когнитивной лингвистике исследованию дискурса уделялось меньшее внимание по сравнению с другой разрабатываемой в ней тематикой. Вместе с тем нельзя не признать, что именно под ее влиянием рождалось убеждение в том, что «по самой своей сути дискурс — явление когнитивное, т. е. имеющее дело с передачей знаний, с оперированием знаниями особого рода и, главное, с **созданием новых знаний**» [Кубрякова 2000, 23]. Как бы ни определять дискурс — через речь, речевую деятельность или же использование языка и т. п. — очевидно, что все такие дефиниции все же должны быть дополнены и уточнены за счет введения в них сведений, которые, с одной стороны, свидетельствуют о лингвокультурологическом и социальном контексте подобного употребления, но которые, с другой стороны, связаны и с личностными свойствами участников дискурсивной деятельности, и в первую очередь его инициатора (его знаниями, верованиями, устремлениями, системой ценностей и конкретными его намерениями в акте коммуникации) и адресата, и которые, наконец, характеризуют изучаемый акт использования языка и его результаты в режиме текущего времени (on-line) и, конечно, в определенных временных интервалах (от и до). Можно определить дискурс и через понятие отдельного коммуникативного акта, который, протекая в определенных лингвокультурологических и социальных условиях и между определенными участниками, описывается во всем разнообразии этих условий и в реальной зависимости от них. Из такого определения логически следует, что типы дискурса могут характеризоваться и по разным каналам передачи информации, и по типам социальной активности его участников, и как реализации особых намерений этих участников, т. е. целеполагания и т. п. Явная адресатность дискурса (даже при условии его обращенности к идеальному адресату, о котором говорил П. Серио [Seriot 1985]) делает возможным связывать дискурсивную деятельность с ее **воздействием** (демонстрируя, например, при описании политического дискурса манипулирование сознанием человека и т. д.); мы полагаем, однако, что в дефиниции дискурса эта его сторона имплицитруется указанием на присутствие в нем концепта целеполагания. По всей видимости, под дискурсом могут иметься в виду (метонимически) и некоторые конвенционально устоявшиеся формы общения (разговор, беседа, обмена репликами в диалоге и т. д.), а также их **результаты в виде текстов**.

Упоминание последних требует в завершение статьи особого пояснения, касающегося реального соотношения дискурса и текста. Поскольку многие ученые уже отдали дань освещению этой проблемы (она обсуждалась практически во всех перечисленных нами работах, ср. также [Чернявская 2001, 15; Шейгал 2000, 8 и сл.; Дымарский 2001; ван Дейк 1989 и др.]), отметим здесь, что мы уже давно высказали об этом свое мнение, подчеркнув, что «под дискурсом следует иметь в виду именно когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом процесса речевой деятельности, выливающимся в определенную законченную (и зафиксированную) форму» [Кубрякова, Александрова 1997, 16].

Вдобавок к сказанному хотелось бы заметить, что мы не готовы согласиться с тем, что «дискурс, в отличие от текста, не способен накапливать информацию» и что дискурс — это «лишь способ передачи информации, но не средство ее накопления и умножения» [Дымарский 2001, 44], хотя резоны такого противопоставления нам ясны. Во-первых, чем дольше длится дискурсивная деятельность (например, дебаты в парламенте), тем больший объем информации должен накопиться у слушающих (да и в любом типе дискурса информация постепенно накапливается). Во-вторых, все результаты дискурсивной деятельности, в которой мы так или иначе принимали участие, служили, разумеется, тоже «накоплению и умножению» информации. Просто зафиксированные в виде текстов результаты дискурса дают, несомненно, большую возможность познакомиться с той же информацией заново, возвращаясь к нужным местам текста и т. п. Но мысленно мы можем «прокручивать» в голове и запомнившиеся нам отрезки речи. Вопрос о предназначении дискурса в отличие от предназначения текста — это тем не менее достойный обсуждения вопрос, и сама деятельность с информацией приобретает в них, действительно, разную форму.

Нельзя забывать и о том, что понятие дискурса складывалось и в лингвистике текста и что область дискурсивного анализа, первоначально совпадавшая с областью анализа готовых текстов, постепенно обособлялась в нечто самостоятельное. Но последнее стало возможным лишь с развитием у термина дискурс нового и весьма специфического значения (см., например, уже упоминавшуюся работу А. А. Кибрика; см. также [Finch 2000, 219 и сл.]).

Завершая эту статью, хотелось бы подчеркнуть, что мы отнюдь не ставим своей целью предложить окончательную формулировку проанализированного нами термина, хотя, конечно, и не приветствуем такого положения дел, когда этим термином называют любые отрезки связной речи от высказывания до самых протяженных единиц или же когда любой функциональной стиль речи именуют дискурсом. Но что, действительно, в лингвистике начала XXI в. выявилась необходимость обозначить новую реальность языка — реальность очень сложную и очень богатую по своему содержанию — нам кажется несомненным. За термином «дискурс» сегодня стоит такая разветвленная структура знания, непременно компонентами которой уже являются знания о речи и речевой деятельности, о том, что ее источником могут являться и одно лицо, и два, и еще гораздо большее количество участников,

что она может и должна рассматриваться во всех социо-, культурно- и личностно-обусловленных прагматических условиях ее порождения, по ходу ее протекания, проявляя зависимость от указанных факторов, а также, что по мере осуществления речи строится за счет определенным образом выбираемых языковых средств новая данность, выражающая интенции ее отправителя и оказывающая воздействие на других участников коммуникативного акта, а также отражающая и порождающая особый мир (ментальное образование), могущий быть репрезентированным в виде текста.

Конечно, понятие дискурса еще будет уточняться и совершенствоваться. Но и сегодня ясно, что познание новой реальности языка, обозначенной рассмотренным нами термином, как и познание намеченных в содержании термина отдельных его аспектов, обещает раскрыть нам немало интересных черт в поведении языка и его использовании, а значит, расширить наши представления о его природе и роли для человека.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова 1990 — Н. Д. Арутюнова. Дискурс // Лингвистическая энциклопедия. М., 1990. С. 136—137.
- Гуреев 2002 — В. А. Гуреев. Британская грамматическая традиция // Изв. РАН. СЛЯ. Т. 61. № 3. 2002. С. 37—48.
- Демьянков 1982 — В. З. Демьянков. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста. Вып. 2 // Всесоюзный центр переводов: Тетради новых терминов, 39. М., 1982.
- ван Дейк 1989 — Т. А. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
- Дымарский 2001 — М. Я. Дымарский. Проблемы текстообразования и художественный текст: На материале русской прозы XIX—XX вв. М., 2001.
- Карасик 2002 — В. И. Карасик. Языковой круг: личность, концепт, дискурс. Волгоград, 2002.
- Кибрик 2003 — А. А. Кибрик. Анализ дискурса в когнитивной перспективе. Дис. ... докт. филол. наук. М., 2003.
- Кубрякова 2000 — Е. С. Кубрякова. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике (Обзор) // Дискурс, речь, речевая деятельность: Функциональные и структурные аспекты. М., 2000.
- Кубрякова, Александрова 1997 — Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова. Виды пространств текста и дискурса // Категоризация мира: пространство и время. М., 1997.
- Кубрякова, Александрова 1999 — Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова. О контурах новой парадигмы знания в лингвистике // Структура и семантика художественного текста: Доклады VII Международной конференции. М., 1999. С. 186—197.
- Николаева 1978 — Т. М. Николаева. Краткий словарь терминов лингвистики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978.
- Николаева 2000 — Т. М. Николаева. От звука к тексту. М., 2000.
- Макаров 1998 — М. Л. Макаров. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь, 1998.
- Серио 1999 — П. Серио. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 14—53.
- Степанов 1995 — Ю. С. Степанов. Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип причинности // Язык и наука конца 20 века. М., 1995. С. 35—73.

В. З. Демьянков (Москва)

ТЕКСТ И ДИСКУРС КАК ТЕРМИНЫ И КАК СЛОВА ОБЫДЕННОГО ЯЗЫКА

Как все мы хорошо помним, в 1978 г. вышел восьмой выпуск книги «Новое в зарубежной лингвистике», посвященный лингвистике текста. Составила его, написала вступительную статью и отредактировала Т. М. Николаева. Эта книга стала настоящим событием в нашей науке о языке. В ней были подведены итоги исследований и намечены перспективы лингвистики текста.

В этой книге английский термин *discourse* обычно переводился как *связный текст*, *речевое произведение* и т. п., но не *дискурс*.

С течением времени слово *дискурс* в российской лингвистике стало употребляться все чаще и чаще. Иногда стали говорить, что от лингвистики текста постепенно перешли к исследованию дискурса. Но, как видно из этой же книги, дискурсом (в нынешнем понимании этого слова) занимались и в те далекие годы, и раньше, и позже.

На первый взгляд, речь идет о разных терминологических традициях: в континентальной науке, а вслед за нею — по-русски — более привычно говорить о тексте, а англосаксам и французам привычнее речь о дискурсе. Поскольку в русском уже укоренилось слово *текст*, то слово *дискурс*, как иногда считают, — излишество.

Однако это ходячее представление не вполне справедливо. Опираясь на материалы большого многоязычного корпуса оригинальных (не переводных) литературных и научных текстов, покажем, что за двумя этими терминами исходно лежали (в том числе и в русском узусе) различные понятия. Терминологический сдвиг связан с продолжением многовековой «деспециализации» лексем класса *текст* и с нарастающей специализацией лексем класса *дискурс* в русском и западноевропейских языках. А книга Т. М. Николаевой вышла как раз в переломный момент нашей науки, вызвав повышенный интерес и к самому предмету, и к выявлению все более тонких дистинкций в лингвистической терминологии.

1. Родной романский ареал

В романских языках внутренняя форма обоих терминов более или менее прозрачна. Поэтому метафоричность осознается гораздо больше, чем за пределами этого ареала.

1. 1. Латинские *textus* vs. *discursus*

В классической латыни связь *textus* с тканью и вообще с «внеречевыми» реалиями бросается в глаза. Например: *Habebat indutui ad corpus tunicam interulam tenuissimo textu, triplici licio, purpura duplici: ipse eam sibi solus domi texuerat* (Апулей. *Florida*). *Textus* как производное от *texo* 'ткать, плести, строить, сплести' только в переносном значении означал иногда 'слог, стиль, связь, связанное изложение'. Основная же масса значений связана с ткачеством. В «Вульгате» не встречаем употребления этой основы со значением «текст». Производные *praetextus* — от глагола *praetexo* 'приткать спереди, окаймлять' и т. п. (соответственно, *praetextatus* — носящий такую одежду, а по переносу, в частности, отроки свободных сословий¹) и *praetextum* 'украшение, блеск' и — по переносу — 'предлог, иногда надуманный'.

Discursus — производное от *discurro* 'бегать в разные стороны, растекаться, распадаться, распространяться', лишь в переносном смысле имел значение 'рассказывать, излагать' (*super aliquid pauca discurrere*, — Ammianus Marcellinus), ср. русский образ со значением пространной речи *по древу растекаться* (течи — в др.-рус. «бежать»). *Discursus* в словарях фиксируется с главным значением «бегание, беготня туда и сюда, бестолковая беготня». Например: *quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas, gaudia, discursus, nostri farrago libelli est* (Д. Юни. *Iuvenalis. Saturae*). И лишь в переносном значении, зафиксированном довольно поздно, в «Codex Theodosianus» (438 г. н. э.), — «беседа, разговор». Из-за этого очень трудно установить, имел ли автор в виду беготню или разговор: нигде не удастся однозначно констатировать только значение «беседа». С несомненностью можно установить только сему «беспорядочность, суетливость», вносимую префиксом *dis-*. Например: *Discursare vero et, quod Domitius Afer de sura Manlio dixit, «satagere» ineptissimum: urbaneque Flavus Verginius interrogavit de quodam suo antisophiste quot milia passum declamasset* (Маркус Фавий. *Quintilianus. Institutio oratoria*).

Для носителей поздней латыни словосочетания типа *discursus stellarum* имеют, таким образом, два прочтения: «движение звезд» и «разговоры звезд между собой», например, в предложении *Fieri videntur et discursus stellarum numquam temere, ut non ex ea parte truces venti cooriantur* (С. Плиний. *Naturalis Historiae*). В этом предложении сам автор, разумеется, имел в виду беспорядочное движение звезд. Образ «и звезда с звездой говорит» (М. Ю. Лермонтов) вполне мог быть отзвуком этого переистолкования.

Некоторая ясность появляется в средневековой латыни. Так, у Фомы Аквинского (1225 или 1226—1274 гг.; он очень часто употреблял основу *discurs-* и, как кажется, никогда основу *text-* со значением «текст», хотя встречаем у него *contextus* 'контекст'²), несомненно, имеется в виду разговор-размышление в следующем

пассаже: *Set dicebat quod intelligere anime est cum discursu, intelligere vero angeli est sine discursu: et sic non est eadem operatio secundum speciem anime et angeli* (Thomae Aquinatis. Quaestiones disputatae: De anima); *Ergo intelligere cum discursu et sine discursu non diversificant speciem* (Там же).

Итак: *discursus* как философское понятие — челночная процедура от известного к неизвестному и обратно³.

У других широко известных ученых Средневековья и Возрождения, писавших на латыни — таких разных, как Св. Августин (354—430), Боэций (ок. 480—524), Абеляр (1079—1142), Оккам (ок. 1285—1349), Николай Кузанский (1401—1464), Галилей (1564—1642), Декарт (1596—1650), Спиноза (1632—1677) и Вико (1668—1744), — слова *discursus* не находим.

У Аквината же находим прилагательное *discursivus*, ставшее столь популярным в немецкой классической философии (особенно начиная с И. Канта): *utrum scientia Dei sit discursiva* (Thomae Aquinatis. Summa Theologica, Prima Pars). Причем дискурсивной может быть или не быть *cognitio*, но всегда дискурсивны *scientia divina* и *cognitio angelorum*. Отношение очень прозрачно: *Deinde, quia discursus talis est procedentis de noto ad ignotum* (Там же). В более поздней философской латыни, например у Ф. Бэкона (1561—1626) в «Новом Органоне», дискурсивным становится *ingenia* (врожденные способности, талант)⁴.

1.2. Итальянские *testo* и *discorso*

В итальянском языке слово *testo* до сегодняшнего дня омонимично: оно означает не только «текст», но и «цветочный горшок, (глиняную или металлическую) форму для запеканок и т. п.»⁵. В значении «текст» этот термин обладает и переносным смыслом: оригинал, подлинник, прототип (поведения и речи). Например: *far testo* (букв. «делать текст») «служить образцом, быть авторитетом». В значении «Священное Писание» употребляется обычно форма множественного числа: *testi sacri*⁶.

А у *discorso* главное значение — «речь».

Первоначально *testo* упоминалось столь же редко, что и *discorso*. Данте Алигьери (1265—1321) употребляет обе основы в «Божественной комедии», однако *testo* три раза, например: *Ciò che narrate di mio corso scrivo, / e serbolo a chiosar con altro testo / a donna che saprà, s'a lei arrivo* (Inferno, Canto XV) «То, что вы повествуете о моем жизненном пути, я записываю / и сохраняю, чтобы истолковать с помощью иного текста / той даме, которая будет знать, если я к ней приду»⁷. А *discorso* встречаем там всего один раз, да и то непонятно в каком значении: *Poco più oltre, sette alberi d'oro / falsava nel parere il lungo tratto / del mezzo ch'era ancor tra noi e loro; / ma quand' i fui sì presso di lor fatto, / che l'obietto comun, che 'l senso inganna, / non perde per distanza alcun suo atto, / la virtù ch'a ragion discorso ammannà, / sì com' elli eran candelabri apprese, / e ne le voci del cantare 'Osanna'*⁸ (Purgatorio, Canto XXIX).

Боккаччо (1313—1375) в «Декамероне» употребляет *testo* исключительно в значении «горшок»: *Poi prese un grande e un bel testo, di questi nei quali si pianta la*

persa o il bassilico (Decameron); а в «Хвалебном сочинении о Данте» — в значении «текст»: *Il quale della sacra Scrittura dice ciò che ancora della poetica dir si puote: cioè che essa in uno medesimo sermone, narrando, apre il testo e il misterio a quel sottoposto* (Trattatello in laude di Dante).

С XV в. до начала XX в. лидирует *discurso*, и не случайно. С ним (но не с *texto* в значении «текст») имеется значительное число производных, а также идиоматичных словосочетаний, в которых указывается на легковесность болтовни⁹. Лишь в XX в. и до настоящего времени *texto* начинает употребляться, по крайней мере, не реже, чем *discurso*, — впрочем, чаще в филологическом употреблении, чем в обыденном контексте.

1.3. Испанские *texto* и *discurso*

Главное значение испанского *discurso* — «речь, выступление, дар речи», например: *discurso de apertura / clausura* «вступительное / заключительное слово», *discurso de bienvenida* «приветственная речь». Другое значение — манера речи: *discurso ampuloso / declamatorio / enfático* «высокопарная, напыщенная речь», *discurso encendido / fogoso / inflamado* «страстная, пламенная, зажигательная речь», *discurso lacrimoso* «жалобные (слезные) речи». Третье значение — рассуждение, например: *perder el hilo del discurso* «потерять нить рассуждения»; по переносу «трактат», а также «рассудок» и «идеология».

Глагол *discurrir* означает не только «ходить взад-вперед, прохаживаться, разгуливать, сновать, пролегать (где-либо), течь, протекать, проходить»¹⁰, но и «мыслить, размышлять, рассуждать», а также «обдумать, осмыслить, продумать». Из идиоматических выражений упомянем только: *ir y venir con discursos* — буквально «ходить туда-сюда с речами», то есть «разглагольствовать».

Производное *discursivo* в словарях фиксируется со значениями «рассудочный, дискурсивный; логический», например: *facultad discursiva* «способность мыслить, рассуждать логически».

Texto употребляется значительно реже, чем *discurso*. Например, в XVI—XVII вв. — примерно в пять раз. Так, у Сервантеса (1547—1616) находим единичные примеры предложений с *texto* — и все они с «научным» оттенком, например: «*Un amigo y discreto*», *respondió don Quijote*, «*era de parecer que no se había de cansar nadie en glosar versos, y la razón, decía él, era que jamás la glosa podía llegar al texto*» (Don Quijote de la Mancha). То же можно сказать о пьесах Аларкона (1581—1639): *Y un texto antiguo se halla / que dijo por esta calle* (Mudarse por mejorarse). Тирсо де Молина (1584—1648), у которого *texto* употребляется чаще, чем у остальных авторов того же времени: *porque con cuatro aforismos, / dos textos, tres silogismos, curaba una calle entera* (Don Gil De Las Calzas Verdes). Во всех этих случаях с *texto* соседствуют какие-нибудь другие «ученые» термины: *гlossы*, *силлогизмы* и т. п. В отличие от *texto*, сфера употребления *discurso* шире и обыденней. Например: *Mira, pues, si en el discurso de nuestra vida auremos visto jugar a los bollos, y si hemos visto por esto auer buuelto a ser hombres, si es que lo somos* (Miguel de Cervantes Saavedra. *Novela y coloquio*). Аналогичное соотношение — вплоть до на-

чала XX в. В XX в. употребимость двух основ стала примерно одинаковой. Однако на границе XX и XXI вв. постепенно побеждает *texto*.

1.4. Французские *texte* и *discours*¹¹

Во французском языке слово *discours* и его производное *discursif* первоначально употреблялись чаще, чем *texte*: в XVI в. — примерно в три раза, а вплоть до конца XVIII в. — в два раза. В начале XIX в. слово *texte* начинают употреблять все чаще, и постепенно — примерно к середине XIX в. — *texte* начинает лидировать, употребляясь в художественной литературе примерно в полтора раза чаще, чем *discours*; однако в текстах по гуманитарным дисциплинам по-прежнему, пусть и с небольшим отрывом, лидирует *discours*. С начала XX в. *texte* прочно завоевывает свои позиции, употребляясь примерно в два раза чаще своего соперника.

Наиболее типичное современное значение термина *discours* — «речь перед собранием людей» («développement oratoire fait devant une réunion de personnes»). Часто встречаем такие словосочетания, в которых по-русски употребляется *речь*: *discours inaugural* ‘инаугурационная речь’, *discours de clôture* ‘речь при закрытии’, *discours du trône* ‘тронная речь’, *les discours d’une campagne électorale* ‘предвыборные речи’, *discours de réception* ‘приветственная речь’. Иногда — «выступление»: *discours-programme d’un ministre* ‘программное выступление министра’.

Возможно, по переносу в этом значении *discours* стал употребляться (с 1613 г.) в смысле «трактат». Например: «*Le Discours de la méthode*» Декарта.

В качестве «слов, выражающих мысль» *discours* упоминается с 1613 г. и употребляется до сих пор: *C’est la suite du discours qui fit seulement comprendre (...) que, par un procédé oratoire habile, le Père avait donné en une seule fois (...) le thème de son prêche entier* (Camus). В таких случаях словосочетанию *suite du discours* по-русски соответствует *ход мысли* (а выражение *хода мысли*, более близкое к оригиналу, звучит непривычно). Русскому *часть речи* соответствует французское *les parties du discours*, то есть, собственно, «части мысли, выражаемой словами».

Логический термин *univers du discours* (как и английское *universe of discourse*) в значении ‘целостность совокупности всех контекстов речи’ переводится на русский — увы — только как *универсум дискурса*, поскольку *мир речи* и *мир мысли* звучат «нетерминологично».

С начала XX в. *discours* получает распространение в качестве термина филологов как синоним для французского же *parole*. *Discours* употребляют, чтобы сказать: «В данном случае я говорю о речи, но не в смысле Ф. де Соссюра». Типичны такие словосочетания: *occurrence d’un mot en discours*, *discours rapporté*, *direct*, *indirect*. Соответственно, *analyse de (du) discours* употребляют там, где по-русски употребляют ‘исследование разговорной речи’.

Устарелым сегодня считается значение «диалог, беседа, речи — в противопоставлении делам». Например: *Son nom fatal à l’Anglois familier, / Et le discours des astres regulier / Luy peuvent bien donner ferme assurance / De joindre en bref l’Angleterre à la France* (J. Du Bellay. Œuvres poétiques: Premiers recueils. 1549—1553). У Сирано де Бержерака (1619—1655) в «Путешествии на луну» читаем:

Elie, pendant tout ce discours, me regardait avec des yeux capables de me tuer, si j'eusse été en état de mourir d'autre chose que de faim (Cyrano de Bergerac. Voyage dans la Lune & Histoire comique des états et empires du Soleil). По-русски в таких случаях говорят слова, ср.: *Assez de discours, des faits!* 'Хватит слов — к делу!'

Производное *discursif* начинает более или менее часто употребляться в художественной и особенно философской литературе (в значении «излагающий мысль, четко, логично и шаг за шагом выводя одно положение из другого» — в противоположность «интуитивным скачкам») на рубеже XVIII—XIX вв., например, у Шатобриана (1768—1848): *La raison discursive ou intuitive est l'essence de l'âme: la raison discursive vous appartient le plus souvent, l'intuitive appartient surtout à nous; ne différant qu'en degrés, en espèces elles sont les mêmes* (F.-A. Chateaubriand. Le paradis perdu de Milton). Иногда *discursif* значит «прямолинейный, без отклонений от магистральной линии изложения», например: *Ce récit tout linéaire (je veux dire: sans épaisseur), uniquement discursif* (A. Gide).

Далеко не всегда *discursif* характеризует неодушевленную сущность: иногда это прилагательное по переносу характеризует человека, соответствуя русскому «обладающий легким пером, легко создающий дискурсы или глубокомысленный», например, у Сент-Бёва (1804—1869) читаем: *Comme Bayle, Nicole est de petite santé, de lecture infatigable en tous sens, d'une composition facile et abondante, et perpétuelle; il est aisément discursif (quand il écrit seul et sans Arnould); il aime l'érudition, l'anecdote, la moralité qu'on en peut tirer; il est bien plus un moraliste fin et moyen, et un habile dialecticien successif, qu'un grand philosophe, qu'une tête théologique coordonnante et concertante* (Ch. A. Sainte-Beuve. Port-Royal: Vol. 4).

На границе XIX и XX вв. в сочинениях философов, социологов и этнографов прилагательное это достигает пика популярности, особенно в следующих словосочетаниях: *opérations discursives, raison discursive, pensée discursive* (особенно часто у Л. Леви-Брюля, 1857—1939); *procédés discursifs* (П. Жане, 1859—1947; М. Мосс, 1872—1950); *intelligence discursive* (А. Бергсон, 1859—1941); *facultés discursives ordinaires* (Э. Дюркгейм, 1858—1917); *nécessité discursive*¹² (П. Дюэм, 1861—1921); *connaissance discursive, raisonnement discursif, réflexion discursive, l'exprimable discursif, représentation discursive* (Э. Шартье, писавший под псевдонимом Alain, 1868—1951), например: *Il serait vain d'instituer une sorte de parallèle entre les opérations discursives de la mentalité prélogique et celles de notre pensée, et de chercher comment elles se correspondent chacune à chacune* (L. Lévy-Bruhl. Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, 1910).

Именно в это время подчеркивается, что интуитивное противопоставляется дискурсивному: *L'intuitif s'oppose au discursif* (E. Chartier. Éléments de philosophie, 1916). То есть дискурсивность означает еще развернутость во времени («в режиме реального времени», как принято сегодня говорить).

Интересно, что глагол *discourir* во французском связан по значению только с речью, но не с развертыванием мысли, иногда со слишком подробным изложением: *Eux discourant, pour tromper le chemin, / De chose et d'autre* (La Fontaine). В качестве

синонимов для него указывают *bavarder* ‘болтать’ и *disserter, haranguer, pérorer* ‘излагать по порядку’ и ‘разглагольствовать’.

Что касается основы *texte* на французской почве, то первоначально слово *prétexte* ‘предлог’ (в оборотах со значением «под предлогом» или «служить / быть предлогом для чего-либо») было гораздо более употребительным, чем собственно *texte*: таково положение вплоть до XVII в., например: *Il rejetta d'abord ces propositions sous prétexte qu'il ne pouvoit mettre de son argent plus de dix mille écus contans en une charge de judicature* (A. Baillet. La vie de M. Descartes, биография XVII в.). В пьесах Корнеля (1606—1684), Расина (1639—1699), Мольера (1622—1673), в сказках Перро (1628—1703), в сочинениях Б. Паскаля (1623—1662) *texte* бывает только очень редко (если вообще находим), чаще — *prétexte*, но очень часто *discours*. Показателен следующий отрывок: *...puisque ni mes discours ni mes écrits donnent aucun prétexte à vos accusations d'hérésie* (B. Pascal. Les provinciales): ‘поскольку ни то, что я говорю (*mes discours*), ни то, что я пишу (*mes écrits*), не дают никакого повода для ваших обвинений в ереси’.

2. Чужой ареал

Для носителей германских и славянских языков внутренняя форма исследуемых терминов не столь прозрачна, что для носителей романских языков.

2.1. Английские *text* и *discourse*

Обычно возникновение слова *text* датируется XIV в. — когда слова *discourse* на английской почве мы еще не встречаем вовсе. К первым упоминаниям относят сочинения Чосера (1340?—1400), например: *That gentil text kan I wel understonde* (G. Chaucer. The Canterbury Tales). Часто (примерно в 20 % случаев) *text* у Чосера соседствует с лексемой *glose* ‘глосса’, то есть (английский) лексический комментарий (чаще всего к Священному Писанию): *And if men wolde ther-geyn appose / The naked text, and lete the glose, / It mighte sone assoiled be* (G. Chaucer. The Romaunt Of The Rose); *For in pleyн text, with-uten nede of glose, / Thou hast translated the Romaunce of the Rose* (G. Chaucer. The Legend Of Good Women).

Вплоть до начала XVI в. слово *text* употребляют, говоря об издании или редакции текста Священного Писания. Например, в XV в.: *the texte of the four gospelles in fayre letters* (W. Caxton. Lyf of the noble and Crysten prynce, Charles the Grete).

В XVI в. появляется и до XVII в. лидирует во всех жанрах литературы (кроме религиозной и юридической) *discourse*¹³ ‘разговор, речь’. Например: *a factious hart, a discoursing head, a mynde to medle in all mens matters* (R. Ascham. The Scholemaster: Book I, 1570).

В XVII в. *discourse* лидирует главным образом в текстах по гуманитарным дисциплинам (в частности, в философских, филологических и экономических сочинениях) и в мемуарной литературе: в художественной литературе и в остальных жанрах деловой прозы позиции лексемы *text* заметно укрепляются. А в религиозной литературе, наоборот, *discourse* употребляется примерно в два раза чаще, чем *text*.

На границе XVII и XVIII вв. *discourse* с лихвой возвращает себе слегка пошатнувшиеся позиции: теперь слово это употребляется примерно в восемь раз чаще, чем *text*.

Но к XIX в. *text* употребляется примерно с той же или даже чуть большей частотой, что *discourse*. На границе XIX и XX вв. разрыв увеличивается, так что к середине XX в. отношение становится примерно 1: 4. А на границе XX и XXI вв. *discourse* за пределами филологических и философских сочинений встречается чрезвычайно редко.

Среди особенностей английского употребления отметим следующее. По-английски бракуют предложения со словом *text*, когда имеется в виду вполне конкретный жанр произведения. То есть, когда можно указать, что вы пишете статью, книгу или письмо, не следует употреблять слово *text*. Так, следующее предложение помечается как неудачное: *She said she was writing a text about France for her local newspaper*. Вместо этого рекомендуется¹⁴ употребить *an article* или что-либо подобное, например: *She said she was writing an article about France for her local newspaper*.

2.2. Немецкие *Text* и *Diskurs*

В немецких словарях слово *Text* отмечается издавна¹⁵. В отличие от русского это слово нередко встречается в немецких пословицах и поговорках¹⁶. Однако в XVI—XVII вв. *Diskurs* превалирует. Нечастые упоминания слова *Text* включают и такие, где связь со священным текстом не обязательна: *Wie dann hiervon der Frantzösischen Poeten Adler Peter Ronsardt ein artiges Sonnet geschrieben / welches ich nebenst meiner vbersetzung (wiewol dieselbe dem texte nicht genawe zugesaget) hereby an zue ziehen nicht vnterlassen kan* (M. Opitz. Buch von der Deutschen Poeterey). Однако метафора ткацкого станка все еще ощущается: слова «вплетаются» в «ткань» (то есть в текст), подобно нитям: *So stehet es auch zum hefftigsten vnsauber / wenn allerley Lateinische / Frantzösische / Spanische vnnnd Welsche wörter in den text vnserer rede geflicket werden* (Там же).

Значительно чаще в XVII в. употребляется *Diskurs*, например: *Under wehrendem diesem unserem Discurs wurde mein Schmaltz gesotten* (H. J. Ch. von Grimmelshausen. Aus dem ewig-wæhrenden Calender). Часто писали *Discours*: французское происхождение слова ощущалось, а слово демонстрировало принадлежность к светской жизни. Латинское же слово *Text* вызывало ассоциации с языком Церкви. На немецкой почве был образован в то же время (позже забытый) глагол *diskourssieren* ‘разглагольствовать’: *Mit welchem anwesende Chevalieers, dann er mueste gestehen al fe de Gentil houmine, daß sie mehr denn diesen Tittulos verdienet / in unterschiedenen Redens Arten weitlaeuftig discourssiret* (A. Gryphius. Horribilicribrifax Teutsch, 1663)¹⁷. Итак, дискурс — живая речь, текст — мертвый продукт речи. В XVIII в. появились *Tischdiskurse* ‘застольные беседы’ и *Kaffeediscourse* ‘беседы за кофе’ (в новое время употребляют выражение *Kaffeeklatsch* ‘кофейная болтовня, сплетня’ в этом же смысле — как «ни к чему не обязывающий треп»): *Denn wer hat, wenn er auch Geschichte weiß, alles so synchronistisch gegenwärtig, daß er wissen kann,*

was damals die Tischdiskurse der Gesellschaft waren? (G. Ch. Lichtenberg. Aus den «Sudelbüchern»).

Показательно следующее употребление из более поздней эпохи — XVIII в.: *Da wir nun gefrühstückt hatten, und wieder in dem Wagen saßen, schienen die Pächter, den hagern ausgenommen, ordentlich aufzuleben, und fingen Religions- und politische Discourse an* (K. Ph. Moritz. Reisen eines Deutschen in England im Jahre 1782). Как видим, *diskurs* заменить на *текст* в это время нельзя. Дискурс — скорее устная форма речи в светской сфере жизни, текст — письменная или устная форма, связанная с сакральностью. Поэтому, когда М. Мендельсон пишет о «дискурсах о Боге», он имеет в виду светскую освоенность духовной материи (а может быть — и скромность автора, как бы призывающего не придавать слишком большой вес тому, что он может «наговорить» о бытии Бога), ср.: *Folgende Diskurse über das Daseyn Gottes enthalten das Resultat alles dessen, was ich über diesen wichtigen Gegenstand unsres Forschens vormals nachgelesen und selbst gedacht habe* (M. Mendelssohn. Morgenstunden).

На границе XVIII и XIX вв. картина постепенно меняется. О тексте стали говорить больше, чем о дискурсе, все чаще и чаще имея в виду при этом серьезность предмета обсуждения (все-таки ассоциация «текст = текст Священного Писания» была жива в подсознании носителей немецкого языка). Текст становится тем, чему следуют (в своих действиях или в пересказе), ср.: *Denn in dem Texte, welchem wir bei unserer Erzählung genau folgen, steht...* (J. W. Goethe. West-östlicher Divan). Идея текста как основы подчеркивается избыточным (если учесть этимологию слова *Text*) композитом *Grundtext*, например: *hiedurch werden wir an den Grundtext hinangeführt, ja getrieben* (Там же); *Mich drängt's, den Grundtext aufzuschlagen* (J. W. Goethe. Faust)¹⁸. Если внимательно посмотреть контексты слова *Text* в эту эпоху, везде заметна будет эта исходная идея сакральности, а потому статичности и неизменности («того самого, священного») текста.

Бросается в глаза то обстоятельство, что В. фон Гумбольдт (1767—1835), творивший в это время, очень редко употребляет оба слова — *Text* (как предмет истолкования) и *diskursiv* (слова *Diskurs* у него не встречаем вовсе), например: *Die wörtliche Erklärung enthält also immer genau so viel Wörter, Wortverbindungen oder Parenthesen, als Wörter im Text vorhanden sind* (W. von Humboldt. Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues). Дискурсивным же у него бывает только понятие: *das ursprünglichste Gefühl, das Ich, ist kein nachher erst erfundener, allgemeiner, discursiver Begriff* (Там же) — в этом он следует И. Канту, ср.: *Die Zeit ist kein diskursiver, oder, wie man ihn nennt, allgemeiner Begriff, sondern eine reine Form der sinnlichen Anschauung* (I. Kant. Kritik der reinen Vernunft)¹⁹.

К середине XIX в. *Diskurs* употребляется еще реже, в большом количестве употреблений мы имеем дело с вкраплениями английских или французских фраз с этой лексемой. На границе XIX—XX вв. слово, несомненно, известно, но в художественной литературе употребляется «остраненно», как скрытая цитата из предыдущего века. Иногда встречаются новообразования, как в предложении *Tanzstundendiskurs* (L. Thoma. Münchnerinnen, 1919): по аналогии с *Tischdiskurs* и

*Kaffeediskurs*²⁰. Наконец, в XX в. *Diskurs* почти полностью уходит из обыденной речи, из художественной литературы, становясь атрибутом речи гуманитариев.

2.3. Русские текст и дискурс

В русском языке слово *текст* начинает употребляться в XVIII в.²¹ Например: *Все проповеди располагаются обыкновенно по ординарной форме [...] Пред вступлением полагается приличный к самой предлагаемой материи текст из священного писания, который неправильно темою называют* (М. В. Ломоносов. Краткое руководство к красноречию. Кн. I. 1748). Ломоносов текстом иногда называл разновидность речи: *А когда текст есть сентенция, то есть краткая правоучительная речь, то можно распространить от пристойных мест риторических* (Там же).

Гораздо чаще употребляется в это же время претекст 'отговорка'. Так, в Кючук-Кайнарджийском мирном договоре, подписанном в 1774 г. Екатериной II, читаем: *Все военнопленные и невольники мужеского или женского рода (...) по размене ратификаций сего трактата непосредственно и без всякого претекста взаимно должны быть освобождены...* Наиболее типичное употребление — в выражениях со значением «под предлогом»: *Если... некоторые из подданных обеих империй, учиня какое-либо тяжкое преступление, преслушание или измену, захотят укрыться или прибегнуть к одной из двух сторон, таковые ни под каким претекстом не должны быть приняты* (Там же).

Только на границе XVIII и XIX вв. встречаем более или менее часто и *дискурс*, и *текст*, причем последний уже тогда доминирует. Лишь изредка находим: *Слушай же мой дискурс* (И. И. Лажечников. Последний Новик). Дискурс — устный монолог. *Текст* же обычно употребляется в контексте издательского дела: *Какая надобность была перепечатывать текст старых изданий: 1790 годов, когда было издание 1806 года, исправленное и значительно пополненное самим Шишковым?* (С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука). В это время в подобном окружении встречаем и термин *контекст*: *Что разумеется здесь под многим писанием: сочинения ли владыки или те книги многи, которые он исписал, неизвестно, хотя последнее, судя по контексту речи, вероятнее* (Макарий²². История Русской Церкви).

За пределами «издательского» контекста *текст* может употребляться в следующих значениях:

- 1) последовательность письменных знаков: *Например, во всех аудиториях на кафедрах вычеканен был золотыми буквами текст, приноровленный против этого злохудожественного учения* (И. И. Лажечников. Как я знал М. Л. Магницкого. 1865);
- 2) озвученная цитата из какого-либо источника, заслуживающего уважительного отношения:
— из Священного Писания: *Один был просто профессор или, лучше сказать, педант, произведенный из немцев в надворные советники и получавший тысячу рублей в год за то, чтоб два часа в неделю читать кое-что по тетрад-*

ке, списанной с печатной книги; другой — на вопросы пламенного юноши отвечал исчислением книг, в которых можно найти удовлетворительное разрешение и которых он сам не читал за недосугом; третий — старался объяснить бытие мира сравнением его с деревянными часами; четвертый отвечал глубоким вздохом и **текстом из Библии** (Н. И. Греч. Черная женщина. 1834);

- из народного творчества: *Русские пословицы все справедливы, Илья, обратимся же к ним, для прибрания текста, к обстоятельствам близкого, например: С волками, жить, по-волчьи выть* (Н. М. Коншин. Граф Обоянский, или Смоленск в 1812 году. 1834);

- из иноязычного источника на языке оригинала: *Узнав, что я сам бывал не последний латынщик и философ, он с удовольствием приводил нередко тексты на сем языке и доставлял мне честь переводить оные графу Владимиру* (В. Т. Нарезный. Российский Жилблаз);

3) сочетание буквы, звука и смысла в чужой речи, подаваемое как:

- предмет истолкования: *Классические авторы нам все известны, но мы лучше знаем критические объяснения текстов, нежели то, что их доднесь делает приятными, что вечность для них уготовало* (А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву);

- предмет озвучивания: *Слушая же текст, он стоял смущенный, как школьник, пойманный в проступке, за который — сказали ему наперед — будет он наказан* (И. И. Лажечников. Басурман).

В последнем случае описывается реакция не на чистый звук, а на смысл озвученного текста.

Особенно показательно словосочетание **буквальный текст**: *По буквальному тексту данного приказа, они выброшены на Волковом поле* (И. И. Лажечников. Ледяной дом). Такой текст противопоставляется внешним обстоятельствам употребления речи: *«Фрол Силин», календарь Острожского издания, / Весь мир ему архив и мумий кабинет; / Событий нет ему свежей, как за сто лет, / Не в тексте ум его ищите вы, а в ссылке; / Минувшего циклон, он с глазом на затылке* (Г. А. Вяземский). Заметим, что сказать **буквальный дискурс** и сегодня нельзя.

В XIX в. превалирование слова *текст* еще более очевидно. Слово *дискурс* в художественной литературе находим только у Н. С. Лескова (1831—1895), в значении «связный, довольно пространный (устный) монолог-рассуждение». О дискурсе говорят в следующих контекстах:

- он имеет начало, но не всегда конец: *И все'они его як-то скоро в сей чин жаловали, а он, бывало, только головой мотает и скажет: «Начались уже дискурсы в дамском вкусе»* (Н. С. Лесков. Заячий ремиз);

- он обладает содержанием, «материей»: *и, как дошла материя дискурса до известных французских партизанов, она требовала моего мнения* (С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Т. I—29);

- связность дискурса прерывается: *Тут в сей дискурс вмешался еще слушавший сей спор их никитский священник, отец Захария Бенефактов, и он завершил все сие, подтвердив слова жены моей, что «это правда», то есть «правда» в рассуждении того, что меня тогда не было* (Н. С. Лесков. Соборяне: Хроника. 1872);
- на него отвечают: *На дискурс ваш отвечу сначала с конца, как об этом есть предложенное негде в книгах исторических* (Н. С. Лесков. Заячий ремиз).

Во всех этих контекстах вместо *дискурс* слово *текст* не допускается, но допускаются *речь, слова* и т. п.

Прилагательное *дискурсивный* употребляется лишь в научных текстах, а именно в значении 'рассудочный': *Единое сознание, действуя как производительное воображение (в отличие от вышеупомянутого воспроизводительного), создает из чувственных восприятий, посредством воззрительных форм, цельные образы предметов; оно же, в своем дискурсивном или рассудочном действии, создает связь явлений по категориям* (В. С. Соловьев. Кант).

Чемпионами по употреблению более частого слова *текст* в художественной литературе этого времени являются А. Н. Герцен (1812—1870), Н. С. Лесков и Ф. М. Достоевский (1821—1881): особенно часто употребляют они этот термин в «издательском» контексте, когда говорят о достоинствах или недостатках произведений словесности, цитируют их и т. п., например: *Вот тут два с лишком листа немецкого текста — по-моему, глупейшего шарлатанства: одним словом, рассматривается, человек ли женщина или не человек?* (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание).

Слово *претекст* иногда также встречается в прежнем значении 'отговорка, причина': *Законные все претексты были к тому, что их можно было обвенчать, а только дядя отец Алексей больше всех законовевдов знал: он, как духовник, знал грехи родительские* (Н. С. Лесков. Русское тайнобращие). Иногда в значении 'намеки'; так, возможны словосочетания *делать претекст* и *сделать претекст*: *Не одна Варвара делала Насте такие претексты...* (Н. С. Лесков. Житие одной бабы); *Вам же позвольте подать теперь такой претекст, что я будто понял слова «все разом» не в самом обширном значении и просил Вас доставить деньги жене брата Алексея на семейную надобность, имеющую срочное применение* (Н. С. Лесков. Письма 1883 года).

На границе XIX—XX вв. слово *дискурс* из языка художественной литературы уходит полностью, его заменяют *речь, слова, разговор*. Зато производное *дискурсивный*, чаще всего с кантовским значением, становится модным в речи гуманитариев. В большей части контекстов это прилагательное можно истолковать как синоним для *рассудочный* (как и раньше). А. Белый (1880—1934) пишет, например: *символ неразложим ни в эмоциях, ни в дискурсивных понятиях; он есть то, что он есть* (Эмблематика смысла).

Впрочем, немало и случаев, когда имеется в виду что-то вроде «связного монолога». Таков смысл словосочетания *дискурсивное говорение*, например: *Раскрывая*

ЯЗЫК. ЛИЧНОСТЬ. ТЕКСТ
Сборник статей к 70-летию Т. М. Николаевой

Издатель А. Кошелев

Оформление переплета Ю. Саевича

Оригинал-макет подготовила Л. Кисличенко

Корректоры О. Заикина, Е. Зуевская

Подписано в печать 20.08.2005. Формат 70х100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Times.
Усл. изд. л. 78,69. Тираж 1000. Заказ № 506.

Издательство «Языки славянских культур».
№ госрегистрации 1037789030641.
Phone: **207-86-93** Fax: **246-20-20** (для аб. M153)
E-mail: **Lrc@comtv.ru** Site: **<http://www.lrc-press.ru>**

*

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел./факс: (095) 247-17-57, тел.: 246-05-48, e-mail: gnosis@pochta.ru
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Зубовский б-р, 2, стр. 1
(Метро «Парк Культуры»)

Foreign customers may order this publication
by E-mail: **koshelev.ad@mtu-net.ru**
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153)